

Иероним Ясинский

Две подруги



Иероним Иеронимович Ясинский

Две подруги

«Май начался, но было холодно. В Петербурге странный май. Погода, однако, стояла ясная.

В семь часов вечера по Кирочной улице шла молодая девушка.

На ней было тёмное платье, подобранное так, что видны были щёгольские ботинки, и синяя кофта с шёлковой бахромой и стеклярусом, а на голове старомодная шляпка с белым пером. Девушка была приезжая...»

Иероним Ясинский

Две подруги

Май начался, но было холодно. В Петербурге странный май. Погода, однако, стояла ясная.

В семь часов вечера по Кировской улице шла молодая девушка.

На ней было тёмное платье, подобранное так, что видны были щёгольские ботинки, и синяя кофта с шёлковой бахромой и стеклярусом, а на голове старомодная шляпка с белым пером. Девушка была приезжая.

Вот тропка, выложенная широкими плитками, и по ту сторону щетинится частокол, поросший мхом. Высокие деревья тихо шумят, перегнувшись через ограду.

– Что это – Таврический сад? – спросила она.

Ей отвечали утвердительно.

Она пошла скорее.

Там уже, может быть, ждёт её Занкевич. Он не удивится, что она нашла и сад, и его. Он знает, что её любовь на всё способна. О чём они будут говорить? Он, вероятно, осведомится, как здоровье мамы, как поживает Знаменская улица, и скоро ли двинется в обратный путь, в благословенную Борзну. Это его

язык. А потом что же? Начнёт ли он, наконец, о том? Надо ли будет уступить ему? Мамаша – старуха, и нельзя же во всём потакать ей. Время идёт, пора подумать о личном счастье. Если бы три года назад она была храбрее и сделала последний шаг, – все первые были сделаны, – ей не пришлось бы терпеть столько горя. Но она не уехала с Занкевичем, хотя – всё равно – досужие люди ославили её на весь уезд...

Она покраснела, ей сделалось стыдно, горечь домашних попреков всплыла со дна души.

Зато в Петербурге, – продолжала она сообщать, – другое дело. Месяц видится она с Занкевичем, и никто об этом не знает и не подозревает, даже мамаша, погружённая в свои деловые хлопоты, в разговоры и споры с сенатскими крючками...

Она очутилась перед входом в сад. Нарядные дети, в сопровождении бонн и полногрудых кормилиц, входили в ворота и выходили. Девушка скользнула вслед за толпой.

Прямо высилась густая сырая аллея. Она пошла по ней. Солнечные полосы косо лежа-

ли на дорожке.

«Кажется, сюда?»

Она вынула из кармана бумажку, где карандашом было набросано что-то вроде плана.

«Да, сюда».

При взгляде на бумажку она усмехнулась. Там знакомою рукою были нарисованы две головки, сливающие свои губы в поцелуй. Она бережно сложила её.

Пальцы её зябли. Но, несмотря на холод, в кустах, на лужайке, щёлкал соловей.

Она всё шла, ожидая, что налево будет горка, а на горке скамейка, и соображала, что сказать Занкевичу. Тут она кстати припомнила все свои разговоры с ним – и борзенские, и петербургские.

Первый разговор был совсем странный и опалил её как молнией. Вместо «нет», она отвечала «да», потому что растерялась, опьянев от радостного страха. Тогда шумели деревья, старые, престарые как и эти, и огромное солнце, низко лёжа на пурпурном облаке, казалось, ласково смотрело сквозь листву беседки. Руки нежно сплетались с руками... Отчего

тот миг не стал вечностью? Потом было много счастья, острого и бесстыдного, но блаженство уже не повторилось. Занкевич женат. Однако же, он звал её с собой. Блаженство не есть ли жизнь с любимым человеком? И не было ли оно в её руках? Не сама ли она отказалась от него тогда? Теперь, в Петербурге, Занкевич другой. Он всё шутит и называет любовь любопытством... Пора напомнить, какие у него обязанности... Если он сам не заговорит о *том*, она заговорит. Дело не в обряде, а в факте. Да и мамаша, в конце концов, должна будет примириться с этим фактом... Скорей бы уже!

Направо, в кривой раме огромного просвета, показались белые стены низенького Таврического дворца, опрокинувшегося в стальной глади пруда. По голубому небу полз дым. Берёзы роняли до земли ветви...

Вот и горка. Соломенные шляпки детей ярко желтеют, снуют внизу, на склоне, как живые цветы.

...Скамейка была свободна, и девушка заняла её. Она пришла раньше Занкевича. Но долго сидела одна.

Издалека доносилась музыка. Вороны хрипели, кружась над деревьями. Сизая дымка стлалась по лужайке, что развернулась у ног зелёной скатертью. Детей уводили.

Девушке надоело ждать. Она встала и обошла густой, полузаброшенный сад. Мысли её приняли на мгновение странный оборот. Этот исторический сад вызвал в её уме представление о том, что было когда-то... В тени дубов, на сквозных скамейках, ей почудились любезничающие пары в золотых кафтанах и фижмах...

Она прошла мимо карусели, где под скверную музыку вертелись облупленные лошади и колясочки. Дюжий солдат, обняв одной рукой краснощёкую бабу и блаженно улыбаясь, катался. Дети смотрели на него с завистью.

Потом она вернулась на прежнее место, полная страха, что не застанет Занкевича, который мог придти и уйти.

Скамейка действительно была пуста.

Тоска начала терзать девушку.

Прямо сияла картина заката. Облака, дымчатые с багровым отливом, расползались над холодным солнцем. Ниже, в светло зелёной

лазури клубились золотые тучки, а в самом низу, на янтарном фоне, за сетью веток, чернели силуэты крыш. Чёрные стволы далёких деревьев казались розоватыми.

«Отчего не пришёл Занкевич? Что задержало его?»

Назначая это свидание, он смеялся над смущением девушки, не понимавшей, зачем тут понадобился Таврический сад; и у него был такой загадочный вид.

Она терялась в предположениях.

На горку поднялся, между тем, молодой человек в коротеньком пальто. Подойдя к девушке, он приподнял картуз и сказал:

– Может быть, ошибаюсь... Вы – Марфа Сергеевна Голубова?

Девушка ответила:

– Да... Что вам?

– Я от Занкевича, с письмецом, – пояснил он и стал рыться в пальто.

Голубова побледнела. Она видела, как плоские пальцы молодого человека достали из широкого кармана лоснящийся конвертик, запечатанный лиловой облаткой, взяла письмо и, не смея вскрыть его, с испугом смотрела

на адрес.

– Что, он болен? – спросила она.

– Не могу знать.

Она сделала усилие и сорвала конверт. До- читав письмо, Голубова повернулась к молодому человеку, и её глаза были широко раскрыты, как бы застыв от ужаса. Занкевич не только навсегда сошёл с со своей женой, получившей большое наследство, но и уехал вот сейчас за границу вместе с нею.

Голубова заплакала. Когда она подняла голову, молодого человека уже не было.

Небо потухало. Над янтарной полосой меркли лиловые облака. Бледно-розовый сумрак обливал предметы.

Голубова сиротливо сидела на скамейке.

Беспредельной перспективой вставало перед ней чёрное будущее. Отчаяние грызло её. Слезы медленно капали на шёлк бахромы и блестели там как на ресницах.

Ненавистное захолустье опять цепко ухватилось за неё, чтоб окончательно засосать в своём болоте, уморить от скуки, отравить зло- словием.

«К чему жить?»

Однако жить хочется. Ведь вот другие же живут. Все живут, всем хорошо!

В саду ещё гуляли. Она вздохнула. Она была здесь совершенно чужая. Враждебно звучал смех в воздухе, и голоса казались злыми.

Она уронила руки на колени.

Вдали, по аллее, изогнутой как дуга, меж деревьями мелькала женская фигура. Она быстро приближалась. Можно было разглядеть её. На ней был толстый плед и простенькая шляпка. Наклонённого лица не было видно до половины. Она шла к горке.

Голубова почувствовала точно удар в сердце. Она вдруг всё забыла и не спускала глаз с женщины. Та приблизилась, села на скамейку и вынула из кармана бумажку с табаком. Плед распахнулся, и из-под него на затылок выбились золотые косы. Лицо незнакомки было бледное, худое, с выражением презрительной кротости и гневного сострадания, с резко очерченной линией розовых губ. Большие глаза её смотрели озабоченно и грустно.

Голубова пришла в волнение почти лихорадочное.

Соседка свертела между тем папироску,

тонкую как соломинка.

Тогда Голубова быстро подвинулась к ней и радостно сказала:

– Саша, милая, здравствуй!.. Вот так судьба... И не думала, и не гадала! Голубова. Неужели забыла!?. Саша... Как же это так... И не стыдно тебе?..

– Голубова? Ах, Боже мой? – произнесла Саша, всматриваясь внимательно в соседку, и щёки её вспыхнули, синие глаза заискрились смехом. Она стала жать ей руку. – Марфенька Голубова?..

Они поцеловались, Голубова заплакала.

– Ну, чего же ты? – спросила Саша, наклоняясь к ней. – Ах, как ты изменилась, Марфенька... Выросла... Ну, чего же ты? А?

Она закашлялась, любовно глядя на подругу, из глаз которой слёзы текли ручьём.

– Ты, Сашечка, тоже изменилась, – говорила Голубова и, всхлипывая и улыбаясь, вытирала лицо платком.

Они долго смотрели друг на дружку. Марфенька не выпускала рук Саши из своих.

– Я тебя узнала по папироске, – начала Марфенька. – Такие были в моде в нашем

пансионе. Помнишь, как ты курила в форточку, а я сторожила?.. И как нас поймала Ольга Ивановна?

– Помню.

Саша усмехнулась и, высвободив руки, принялась снова за табак.

– Давно в Петербурге? – спросила она, зажигая спичку.

Марфенька рассказала.

– Но как ты кстати встретилась! Ты так утетила меня, Сашечка! Мне было грустно, Сашечка! – прибавила она печально. – Ах, Сашечка! Сашечка!

Болтливое возбуждение охватило её. Мало-помалу она сделала Занкевича центром разговора. Была потребность поделиться горем. И, говоря об измене своего любовника, она злилась, и голос её слезливо дрожал.

Саша курила, глубоко затягиваясь.

«Странная она какая-то», – думала она, и интерес у неё к подруге падал, по мере того, как развивались подробности несчастной истории.

Марфенька остановилась.

– Саша! – воскликнула она тревожно. – Ты

меня презираешь? Скажи?.. Что ты так на меня посмотрела?.. Сашечка!

– У тебя нервы, – заметила подруга.

– Да, это правда, Сашечка, правда!

– Ах, Сашечка, что же мне делать?! – начала она через минуту с тоской, и глаза её приняли молящее выражение.

Саша закашлялась и, когда прошёл припадок, сказала:

– Ничего. И ты разлюби.

Голубова обиделась.

– Я утоплюсь, – произнесла она, бросая собой взгляд на пруд.

– Глупо сделаешь, – возразила подруга.

– Сашечка, право, я утоплюсь! – повторила Марфенька.

Подруга ничего не ответила.

Небо потухло. На месте заката бледнело жёлтое зарево. Вдали слабо рокотал город.

– Сашечка, – начала с упрёком Голубова, – мне кажется, ты ещё не знаешь, что такое горе...

– Может быть, – отвечала та.

– Ты сказала таким тоном, – заметила Марфенька, помолчав, – как будто бы у тебя есть

посильнее горе... Ах, Сашечка, нет ужаснее судьбы разбитого сердца!..

– Красивое выражение, Марфенька! – прошептала подруга.

Они снова замолчали.

«Рассказать ей, что ли?» – думала Саша, которую грызли воспоминания о страданиях своих и чужих. Те муки не вытекали из неудавшихся планов личного блага. Они имели иной характер. Там было подвижничество, и оно влекло за собой действительность физических терзаний, почти всегда неминуемую... Сколько слёз, стонов, безвестных, замерших где-нибудь в каменных гробах, ледяных тундрах, и сколько пресеченных жизней!!

Знакомые лица, с суровым взглядом застывших глаз, бледные, измученные, пронеслись толпой перед нею. Ей стало жутко. Сердце её заболело, и протяжной скорбью наполнилась усталая грудь. Он, её милый муж, был в этой толпе!..

«Нет, не стану рассказывать... Зачем?»

Она горестно глянула по сторонам. Деревья казались косматыми гигантами, одетыми

в траурные плащи. Они цепенели в своей унылой неподвижности, с диким отчаяньем протянув друг к другу руки.

Она встала и произнесла:

– Ну, прощай, Марфенька...

Марфенька встрепенулась.

– Ты уж уходишь? – вскричала она с сожалением. – Посидим ещё... Посидим! Скажи мне что-нибудь о себе... Ну, что ж ты?.. Что подельваешь? Учишься на доктора?.. Нет?.. На педагогических курсах?.. Ничего не сочиняешь?.. Помнишь, ты прежде сочиняла...

– Да... нет... Ничего!.. Сочиняла, да не тово... плохо... Прощай, голубка!

– Подожди, – крикнула Марфенька, нежно беря её за плечо. – Заходи ко мне... Пойдём сейчас... Мамаша обрадуется... Пойдём...

– Ах, мне очень некогда! – отвечала Саша, плотно кутаясь в плед.

– Ну, так... я тебя провожу домой...

– Милая, извини меня, но я... я иду в другое место... Прощай!

– Всё равно, я тебя провожу, – возбуждённо смеясь и дрожа от холода, заявила Марфенька. – Ну, хоть до садовых ворот... Скажи мне

по крайней мере, как ты... счастлива в самом деле? А?

– По-своему, – прошептала Саша угрюмо.

Подруга с завистью посмотрела на неё.

Они спустились с горки и исчезли в безмолвном сумраке аллеи.

Декабрь 1880 г.